

Заметки о «Войне и мире» Льва Толстого

(к 75-летию выхода в свет первого издания романа)

I

Много лет спустя после того, как Лев Толстой написал «Войну и мир», он говорил: «Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нем главную основную мысль. Так, в «Анне Карениной» я любил мысль семейную, в «Войне и мире» люблю мысль народную, вследствие войны 12 года».

Роман «Война и мир» был написан в 1865-69-х гг., а за несколько лет до того, в конце 50-х и в самом начале 60-х годов, Толстой пережил полосу страстного увлечения педагогическим делом. Основав в Ясной Поляне школу для крестьянских ребят, он лично занимался с ними по разным предметам, причем немало внимания уделял отечественной истории. В журнале «Ясная Поляна», где Толстой делился с читателями своим новаторским опытом в области педагогики, он рассказал и об этих занятиях по русской истории.

«Самый большой успех, – сообщал он, – имел, как и надо было ожидать, рассказ о войне с Наполеоном. Этот класс остался памятным часом в нашей жизни»¹. И далее следует сжатый, но очень живой, художественно написанный отчет о преподанном ребятам уроке истории. Отчет этот включает в себе и конспект урока, и вместе с тем описание самого процесса его, причем особенное внимание обращено на то, как реагировали ребята на рассказ о войне с Наполеоном.

«Я начал с Александра I, рассказал о французской революции, об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром. Как только дело дошло до нас, со всех сторон послышались звуки и слова живого участия: «Что ж, он и нас завоюет?» – «Небось, Александр ему задаст», – сказал кто-то, знавший про Александра, но я должен был их разочаровать, – не пришло еще время – и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру, и что с ним, как с равным, Александр говорил на мосту. «Погоди же ты!»

¹ Журнал «Ясная Поляна» за 862 год, статья «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы, II»

– проговорил Петька с угрожающим жестом. «Ну, ну рассказывай!» Когда не покорился ему Александр, то он объявил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон, с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, все замерли от волнения».

Нужно сказать, что у Льва Николаевича было несколько сотрудников по работе в Яснополянской школе, в том числе один немец, который присутствовал на данном уроке.

«– А, и вы на нас» – сказал ему Петька ... «Ну, молчи!» – закричали другие. Отступление наших войск мучило слушателей так, что со всех сторон спрашивали объяснений – зачем? И ругали Кутузова и Баркляя. «Плох твой Кутузов». – «Ты погоди», – говорил другой ... Когда пришла Бородинская битва, и когда в конце ее я должен был сказать, что мы все-таки не победили, мне жалко было их; видно было, что я страшный удар наносу всем».

Впрочем, юные патриоты тут же оправились от этого удара:

«Хоть не наша, да и не ихняя взяла». Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, все захохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество – отступление. «Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить», – сказал я. «Окорячил его!» – поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы... Как только он сказал это, так вся компания застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади и никто не замечал. «Так-то лучше! Вот те и ключи», и т. п. Потом я продолжал, как мы погнали француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине, и мы упустили его: Петька даже крикнул: «Я бы его расстрелял, зачем он опоздал». Потом немножко мы пожалели даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. – «А, вы, так-то? То на нас, а как сила не берет, так с нами?» – и вдруг все поднялись и начали ухать на немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа:

торжествовали, пировали, только воспоминанье Крымской войны испортило нам все дело. «Погоди же ты, – проговорил, Петька, потрясая кулаками; – дай я вырасту, я же им задам». Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили. Уже было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят в это время. Никто не спал, даже у кукушек (так мальчики дразнили девчонок. Н. П.), глазенки горели. Только что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удивлению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьезно посмотрел на меня. «Как ты сюда залез?» – «Он с самого начала», – сказал кто-то. Нечего было и спрашивать, понял ли он видно было по лицу. «Что, ты расскажешь?» – спросил я. «Я-то? – он подумал, – всю расскажу». – «И я тоже». – «И я». – «Больше не будет?» – «Нет». И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окорячил».

Можно предполагать, что та «народная мысль» о войне двенадцатого года, которая положена в основу «Войны и мира», могла возникнуть и выкристаллизоваться в творческом сознании Льва Толстого именно под впечатлением этой беседы его с яснополянскими школьниками. Недаром она так взволновала его и осталась навсегда «памятным часом» в его жизни. Можно считать, что группа крестьянских ребят-школьников, компетентность которых в отношении правильности и чуткости понимания самого главного Лев Толстой расценивал вообще очень высоко (вспомним его знаменитую, написанную в то же время, статью: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?»), была для Толстого как бы пробной аудиторией, а самая беседа с ними как бы сокращенной репетицией «Войны и мира». И нужно ли говорить о том, что в этом школьном рассказе о двенадцатом годе, несмотря на всю его нарочитую упрощенность (применительно к возрасту и уровню развития ребят), уже намечены основные линии нашей русской Илиады и что читатели «Войны и мира» испытывали и испытывают те же самые эмоции, которые Толстой заставил пережить своих деревенских школьников, а именно:

боль за любимую родину, ненависть к врагу-захватчику, гордое чувство непокоримости, гнев, месть и, наконец, победное торжество над врагом.

II

Известно, что Лев Толстой очень любил Лермонтова и очень высоко ценил его. И если можно говорить о влиянии на Толстого со стороны кого-либо из предшествовавших ему русских писателей, то, прежде всего, следует говорить, конечно, о влиянии Лермонтова. От Лермонтова идет характерный для Толстого глубокий и напряженный психологизм. Лермонтов является прямым предшественником Толстого и в поразительном реализме его батальных картин, чуждых какой-либо поэтизации войны, как таковой. Наконец, глубочайшая народность Льва Толстого по характеру своему ближе всего к той народности, какую мы находим именно у Лермонтова.

Народность Льва Толстого ярче всего сказалась в его знаменитом романе «Война и мир», как это признавал и сам автор. Но он же засвидетельствовал однажды преемственную связь своей эпопеи со стихотворением Лермонтова «Бородино», сказав о нем так: «Его «Бородино» – это зерно моей «Войны и мира». В самом деле, при всей несоизмеримости этих двух шедевров русской литературы в отношении объема и жанра, – от каждого из них веет одним и тем же духом, подлинным духом русского народа, мужественно отстаившего свою родину от наполеоновских полчищ. Сходство лермонтовского стихотворения и толстовского романа не ограничивается, однако, этой общей «тональностью» обоих произведений. Самое описание Бородинского сражения, стоящее в центре романа Толстого, есть как бы распространенное изложение тех самых событий, и моментов, о которых очень сжато, но, как оказывается, замечательно точно и, можно сказать, с документальной достоверностью рассказывает лермонтовский солдат-артиллерист, ветеран двенадцатого года. (Смотри об этом интересную статью Ираклия Андроникова «Бородино» в «Правде» от 22 июня 1941 года). В частности, та курганная батарея (или «батарея Раевского»), которая, по Толстому, была «самым важным местом в сражении» и куда он недаром поместил своего Пьера Безухова в качестве наблюдателя сражения, в точности

соответствует тому «редуту», который, по Лермонтову, был главным объектом яростных, но безуспешных французских атак:

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись как тучи,
И все на наш редут.

Все это так, но еще никто, кажется, не подметил, что в огромном романе Толстого есть в одном месте даже текстуальное совпадение с небольшим стихотворением Лермонтова. Кто не помнит наизусть тех строк из этого стихотворения, где изображаются настроение и поведение русских бойцов в ночь перед боем:

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

У Толстого же в «Войне и мире» (том III, часть 2-я, глава XXXVI) читаем: «Полк князя Андрея был в резервах, которые до 2-го часа стояли позади Семеновского в бездействии под сильным огнем артиллерии... Большую часть времени люди полка, по приказанию начальства, сидели на земле. **Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухой глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык;** кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по-новому подвертки и переобувался».

Стоит сравнить выделенные нами строки у обоих авторов, чтобы увидеть их текстуальную близость, доходящую почти до тождества: тут и кивер, и штык, и притом совершенно одинаковое строение фразы! Это доказывает, что Толстой, исходя в сооружении своей гениальной эпопеи от лермонтовского стихотворения («зерно!»), настолько твердо держал в памяти его текст, что однажды (может

быть, в порядке невольной реминисценции) даже свой текст построил по-лермонтовски.

III

Известно, что у Крылова есть несколько басен о 1812 году. Таковы «Волк на псарне», «Щука и кот», «Ворона и курица», «Обоз» и некоторые другие. Последняя из названных басен была написана против тех критиков Кутузова, которые обвиняли его в излишней осторожности и медлительности. Сам Александр I после Бородинского боя и занятия Наполеоном Москвы требовал от Кутузова решительных действий против проникшего в глубь России Наполеона. Кутузов же медлил, осуществляя свой гениальный стратегический план, и не внимал упрекам. Крылов правильно оценил мудрую стратегию Кутузова и написал в защиту ее басню «Обоз». Басня эта начинается так:

С горшками шел Обоз,
И надобно с крутой горы спускаться.
Вот, на горе других оставя дожидаться,
Хозяин стал сводить легонько первый воз.
Конь добрый на крестце почти его понес,
Катиться возу не давая.
А лошадь сверху, молодая,
Ругает бедного коня за каждый шаг:
«Ай, конь хваленый, то-то диво!»
Смотрите: лепится, как рак...

Раскритиковав в пух и прах «хваленного коня» (хотя тот благополучно сvez свой воз), «молодая лошадь» нетерпеливо ждала своей очереди, заранее похваляясь:

Гляди-тко нас, как мы махнем!
Не бойся, минуты не потратим,
И возик свой не сvezем, а скатим!

Но как только этот конь-хвальбишка стал на деле показывать свое «искусство», получился большой конфуз:

Воз начал напирать, телега раскатилась:

Коня толкает взад, коня кидает вбок;

Пустился конь со всех четырех ног

На славу;

По камням, рытвинам пошли толчки,

Скачки,

Левей, левей, и с возом – бух в канаву!

Прощай, хозяйские горшки!

В третьем томе «Войны и мира» (часть третья, глава IV) дано описание военного совета в Филях, на котором особую активность проявлял враждебный Кутузову немец Бенигсен, стоявший за то, чтобы дать под Москвой еще одно (после Бородина) большое сражение. Предложение было неискреннее, хотя Бенигсен прикрывался высокопарной «патриотической» фразеологией – желанием защищать «священную древнюю столицу России». Когда прения на совете были исчерпаны, «Кутузов тяжело вздохнул, как бы собираясь говорить. Все оглянулись на него. – Eh vien, messieurs! Je vois que c'est moi qui payerai les pots cassés², – сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. – Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне государем и отечеством, я – приказываю отступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с какой расходятся после похорон».

Совпадение налицо: у Крылова – «хозяйские горшки» и у Толстого Кутузов говорит об ответственности за «перебитые горшки». Нам кажется, что совпадение это не случайно. Либо французская фраза о горшках была вложена Толстым в уста Кутузова произвольно, по праву беллетристического вымысла, – в таком случае она могла быть подсказана ему басней Крылова. Либо Кутузов действительно произнес эту фразу на историческом военном совете, что мог зафиксировать какой-нибудь мемуарист, а мы знаем, как добросовестно изучал

² Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки.

Толстой всю литературу о 1812 годе, особенно мемуарную, и как старался он быть максимально точным и достоверным относительно слов и поступков исторических персонажей своего романа. Но мы знаем также и то, с каким пристальным вниманием относился к личности фельдмаршала Крылов. Кутузов фигурирует у него почти во всех баснях о двенадцатом годе и, прежде всего, в самой знаменитой из них – «Волк на псарне». Интересно, что, по свидетельству современников, Крылов, написав эту басню, передал собственноручный список ее жене Кутузова, а та переслала мужу в действующую армию, и Кутузов однажды, после сражения под Красным, прочитал «Волка на псарне» собравшимся вокруг офицерам, причем, дойдя до слов «Ты – сер, а я, приятель, сед», он снял свою белую фуражку и потряс наклоненною головой. Нет ничего удивительного в том, что при таком тесном «контакте» между знаменитым русским полководцем и знаменитым русским баснописцем «крылатые» слова о горшках, если только они действительно были сказаны Кутузовым, должны были «долететь» до Крылова, жадного к народной молве о любимом фельдмаршале, и он не замедлил положить данный образ в основу своей очередной «прокутузовской» басни. Хронология соответствует такому предположению: военный совет в Филях состоялся 1 сентября (по старому стилю) 1812 года, басня же Крылова «Обоз» была напечатана впервые в ноябрьской книжке «Сына отечества» за тот же год.

Есть в «Войне и мире» еще одно совпадение с Крыловым. Мы имеем в виду басню «Ворона и курица». Она начинается «экспозицией», где население, оставившее Москву в 1812 году, сравнивается с роем пчел, покинувшим улей:

Когда Смоленский князь³,
Противу дерзости искусством воруясь,
Вандалам новым сеть поставил
И на погибель им Москву оставил,
Тогда все жители, и малый и большой,

³ То есть Кутузов

Часа не тратя, собралися
И вон из стен Московских поднялися,
Как из улья пчелиный рой.

А в третьем томе «Войны и мира» XX глава 3-ей части начинается так: «Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает помирающий, обезматочевший улей...» И далее Толстой с исчерпывающей полнотой, вплоть до мельчайших подробностей из жизни пчел, развивает это сравнение, так что оно разрастается у него в целую главу, напоминая развернутые сравнения у Гомера или у Гоголя в «Мертвых душах», но значительно превосходя их своими размерами. Можно сказать, что это – самое большое сравнение во всей русской литературе, и то, что мы находим его именно в «Войне и мире», вполне отвечает масштабам этой грандиозной эпопеи.

IV

Читатели «Войны и мира» помнят колоритную и обаятельную фигуру друга Николая Ростова – Василия Денисова, прототипом которого послужил Денис Давыдов. Последний и сам увековечил свой образ в литературе – в своих талантливых стихах и высокохудожественных очерках мемуарного жанра. Особенно интересен его «Дневник партизанских действий», по которому одному можно составить себе яркое и исчерпывающее представление об этом замечательном русском человеке. Толстой, несомненно, тщательно изучал этот документ, и следы этого изучения сказались не только в общем внутреннем сходстве между образом Василия Денисова и автором «Дневника», но и в некоторых конкретных позаимствованиях фабульного порядка.

Однажды крестьяне привели к Денису Давыдову шесть французских бродяг. «Между ними, – записывает он в «Дневнике», – находился барабанщик молодой гвардии, именем Викентий Бод (Yincent Bode) пятнадцатилетний мальчик, оторванный от родительского дома и, как ранний цвет, перенесенный за три тысячи верст, под русское лезвие и на русские морозы. При виде сего интересного юноши, сердце мое облилось кровью; я вспомнил и дом родительский и отца

моего, когда он меня записывал в военную службу. Как предать несчастного случайностям голодного, холодного бесприютного странствования, имея все средства к спасению? Оставил его при себе, я велел надеть на него чекмень и фуражку, чтобы избавить его от непредвидимого удара штыком или дротиком, и, довед его, таким образом, через горы и доли, из края в край, до самого Парижа здоровым, веселым, и почти возмужалым, где передал его из рук в руки престарелому отцу его».

Этого мальчика-барабанщика мы находим и в «Войне и мире» (в 3-ей части IV тома, в главах, посвященных партизанскому отряду Денисова), причем Толстой оставил без изменения даже его имя. Впрочем, в отряде это мудреное имя было тут же переименовано на русский лад: «Имя его Vincent уже переделали казаки – в Весеннего, а мужики и солдаты – в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике». (Вспомним сравнение Дениса Давыдова: «как ранний цвет...»).

«Русификации» подвергся и внешний вид мальчугана, которого Денисов «велел одеть в русский кафтан (ср. «чекмень» Дениса Давыдова) с тем, чтобы, не отсылая с пленными, оставить его при партии».

Но повышенно сентиментальное отношение к пленному мальчику, которое Денис Давыдов выразил в своем «Дневнике» с такой аффектацией, Толстой, видимо, нашел не подходящим для своего Денисова и наделил им Петю Ростова в полном соответствии с возрастом последнего и с тем «восторженным детским состоянием нежной любви ко всем людям», в каком он тогда находился (сидя в лесной караулке, в обществе Денисова и его боевых товарищей).

Между прочим, по поводу этого барабанщика у Денисова произошел принципиальный спор с Долоховым. Долохов был против того, чтобы брать пленных, и иронизировал над тем, что Денисов церемонится с ними и «сдает их под расписки». Денисов же горячо стоял на своем: «– И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека... Г'азве тебе т г'удно отослать 30 ли, 300 ли человек под конвоем в город, чем марать, я пг'ямо скажу, честь солдата».

Спор этот перенесен в «Войну и мир» тоже из «Дневника» Дениса Давыдова, где Долохову соответствует Фигнер. Узнав, что Денис Давыдов не расстреливает пленных, Фигнер сказал ему: «Ну, так походим вместе, и ты верно бросишь эти предрассудки». Денис Давыдов ответил ему на это: «Если солдатская честь и сострадание к несчастию суть предрассудки, то я с ними умру».

V

Лев Толстой брал свое добро отовсюду, где он его находил. При этом он не пренебрегал никакими мелочами: каждая из них могла пригодиться в его громадном хозяйстве. И, может быть, его историческая беллетристика потому именно и обладает такой Непререкаемой убедительностью, что он не старался придумывать деталей, а подбирал их среди всевозможных «реалий» эпохи. Но и тогда, когда он придумывал какую-нибудь деталь от себя, он делал это с такой пронизательностью, с такой силой угадывания, что случайная сверка с действительностью не раз блистательно оправдывала его вымысел. Приведем один пример.

Читатели «Войны и мира» помнят, что Кутузов у Толстого, уже будучи главнокомандующим, в дни, когда решалась судьба России, все-таки находил время и возможность читать французские романы. В свое время это кое-кого шокировало, особенно высокопоставленных лиц, в том числе – министра народного просвещения при Александре I Норова, который в молодости был офицером и участвовал в Бородинском сражении. В беседе со своим секретарем Г. П. Данилевским (небезызвестным впоследствии историческим романистом) Норов так выражал свое возмущение: «Граф Толстой рассказывает, как князь Кутузов, принимая в Цареве-Займище армию, был более занят чтением романа Жанлис – «Les chevaliers du Cygne⁴», чем докладом дежурного генерала. И есть ли какое вероятие, что Кутузов, видя перед собой все армии Наполеона и готовясь принять решительный ужасный с ним бой, имел время не только читать роман Жанлис, но и думать о нем... До Бородина, под Бородином и после него, мы все,

⁴ Рыцари Лебеда

от Кутузова до последнего подпоручика артиллерии, каким был я, горели одним высоким священным огнем любви к отечеству и, вопреки графу Толстому, смотрели на свое призвание, как на некое священнодействие. И я не знаю, как посмотрели бы товарищи на того из нас, кто бы в числе своих вещей дерзнул тогда иметь книгу для легкого чтения, да еще французскую, в роде романов Жанлис».

Норов находил роман Толстого вообще не соответствующим исторической действительности и изложил этот свой взгляд в резко написанной статье, напечатанной в «Военном сборнике» за 1868 год. Через два месяца после того Норов умер. Данилевскому пришлось писать некролог. Каково же было его удивление, когда, собирая материал для этого некролога, он «случайно увидел крошечную французскую книжку из библиотеки Норова: «Похождение Родерика Рандома⁵» и на ее внутренней обертке прочел следующую собственноручную надпись Норова на французском языке: «Читал в Москве раненый и взятый в плен французами, в сентябре 1812 года». «То, что было с подпоручиком артиллерии в сентябре 1812 года, – правильно заключает Данилевский, – забылось через 46 лет престарелым сановником, в сентябре 1868 года, так как не подходило под понятие, невольно составленное им о временах двенадцатого года».

Находка Данилевского блистательно оправдала Толстого-художника и Толстого-патриота. Как истинный патриот, абсолютно чуждый какой-либо риторической фальши, и позы, Толстой не боялся, что чтение французских романов умалит величие Кутузова. А как художник-психолог, Толстой понимал, что то огромное, почти сверхчеловеческое напряжение, в котором жил и работал старый фельдмаршал в 1812 году, (особенно после принятого им ответственного решения об оставлении Москвы), было бы, может быть, непереносимо для него, если бы он не позволял себе иногда разного рода отвлечений, к числу которых относилось и чтение привычной беллетристики. Полного отвлечения, впрочем, не могло быть, потому что того главного, чем был занят Кутузов в те грозные исторические дни, он не мог забыть ни на минуту.

⁵ Имеется в виду французский перевод известного английского романа, автор Смоллет

Вот как писал об этом Толстой в «Войне и мире»: «Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал, но ночью он, не раздеваясь лежа на своей постели, большей частью не спал и думал... Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна была рана, нанесенная при Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно, всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но, во всяком случае, нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дольше проходило время, тем нетерпеливее он становился... Вопрос этот занимал все его душевные силы. Все остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к m-me Stahl, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздача наград, переписка с Петербургом и т. п. Но гибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание». (Том IV, часть 2-я, глава XVII).